

ПОЗНАВАЯ В СРАВНЕНИИ: *о евростандартах, мужчинах и истории*

Недавний репортаж корреспондента *Нью-Йорк Таймс* с открытия художественной выставки *Мужчина сегодня* начинался так:

Белый дом обеспокоен. Ватикан расстроен. И, честно говоря, сегодня, когда ничего нормального у нас уже не осталось, вряд ли кто-то сможет их упрекнуть. Ведь брак и семья – под сомнением. Содомия – неожиданно – уже не преступление. «Голубые» – в Конгрессе, за кафедрой и на телевидении. А если я вам скажу, что в музее искусства *Метрополитен* вот-вот начнется выставка под названием *Храбрые сердца: мужчины в юбках*, вы поймете, как далеко мы зашли¹.

Подобные реплики – ироничные и не очень – не редкость на страницах популярной, да и академической, прессы США. Тема «войны полов», столь долго занимавшая общественное мнение Запада, сменяется иной – сходной, но не совпадающей. Усвоив заповеди популярной психологии о том, что «мужчины – с Марса, а женщины – с Венеры», представители обоих полов, видимо, решили повременить с выработкой принципов «межпланетной» коммуникации, чтобы разобраться для начала с «населением» каждой отдельно взятой «планеты».

(234)

Сформулирую чуть иначе: анализ отношений между полами, стимулированный в 1960–1970-х гг. студенческим и феминистским движением, на рубеже веков пришел к логическим попыткам выяснить те принципы, те закономерности, особенности и противоречия, которые составили и составляют специфику каждого пола в *отдельности*. Изначально подобная аналитическая «самоизоляция» полов носила во многом компенсаторный характер, связанный с желанием доказать, что противоположный пол «по определению» хуже, что он – в зависимости от контекста – более склонен, например, к насилию или эмоциональным истерикам. Нынешний этап, начавшийся в 1990-х гг., характеризует настойчивое стремление продемонстрировать, что сами исходные понятия «*мужчина*» и «*женщина*» лишены стабильности, целостности и очевидной определенности. Что стандарты поведения, предписываемые конкретному полу, то самое «нормальное», об отсутствии которого пишет арт-критик из *Нью-Йорк Таймс*, есть лишь дань традициям, то есть ритуалам, в которых отразились случайно сложившиеся конфигурации отношений между конкретными людьми.

Попытка разобраться с происхождением этих «ритуалов пола» привела к выводу о том, что здесь – как и в любом ритуале – тоже есть свои «действующие лица», своя «массовка», свои «режиссеры-постановщики» и «авторы сценариев». Различия между представителями одного

¹ *The New York Times*. 8 August 2003. P. E32.

пола оказались в итоге не менее существенными, чем различие *между полами*. Именно этот акцент на *внутренней* структуре пола и позволил привлечь внимание к тому переплетению классовых, этнических, культурных, семейных, возрастных, региональных и т.п. характеристик индивидуальной жизни, результатом которого, собственно, и становится конкретный *мужчина* или конкретная *женщина*.

Разумеется, нельзя сказать, что подобная дестабилизация понятия «пол», как и тот релятивизм в оценке половых практик и сексуальности, который мы наблюдаем в течение последних 10–15 лет, есть нечто совершенно новое. Социальная антропология уже более ста лет вполне успешно документирует бесконечную вариативность половых норм, идеалов и практик. И эта вариативность лишь подтверждает общий тезис о том, что «половое *поведение*» есть итог обучения тому, как *себя вести*, и потому определяется не столько природными *данными* человека, сколько его знанием соответствующих «норм» и «правил», то есть диапазоном его культурной компетенции. Маргарет Мид, например, в классической работе *Мужское и женское* в 1948 г. отмечала:

В каждом известном нам обществе создается и искусственно поддерживается деление между полами, проведенное таким образом, чтобы требования, предъявляемые к профессиональной занятости и личностным характеристикам представителей одного пола, ограничивали человеческие возможности (humanity) другого пола. Иногда подобное деление выражается в форме отрицания различий, существующих в рамках одного пола, например, в виде положения о том, что мужчина должен быть выше женщины, которое, соответственно, предполагает, что мужчина, уступающий в росте женщинам, – это не совсем мужчина. Это – лишь простейшее свидетельство пагубности подобных обобщений. Можно было бы перечислить и тысячи других, укорененных в нашем нежелании признать громадное разнообразие человеческих существ, комбинации которых иногда поражают своим контрастом больше, чем, допустим, сожительство кролика с львицей или овцы с леопардом².

Новизна *нынешних* дискуссий о «смысле пола», повторюсь, не в их тематике, а, скорее, в масштабе. Выйдя за пределы традиционных дисциплин (психология, антропология, сексология и т.п.), дебаты «про *это*» породили мощный поток художественной, публицистической, мемуарной, автобиографической, литературно-критической и обществоведческой литературы, фиксирующей разнообразные нюансы *женского* или, соответственно, *мужского* в нашем прошлом и настоящем.

Книга, о которой пойдет речь, является естественным проявлением этой общей тенденции. Подготовленный к печати тремя англоязычными историками, сборник статей, название которого можно было бы пере-

(235)

ПОЗНАВАЯ В СРАВНЕНИИ

² Mead M. *Male and Female: a Study of Sexes in a Changing World*. New York, 1972. P. 350.

вести как *Российские мужчины в истории и культуре*, стал первой попыткой (в основном) зарубежных историков взглянуть на отечественное прошлое с точки зрения исторических вариаций норм и практик «мужского» поведения³. Хотя сборник адресован, прежде всего, зарубежной аудитории, на мой взгляд, он может быть интересен и отечественному читателю – и с точки зрения тех выводов, к которым приходят авторы, и как пример определенных исследовательских технологий, связанных с соответствующим отбором/подбором исторических документов и способов их интерпретации.

Одиннадцать статей сборника (плюс введение и заключение соредакторов) организованы хронологически: «история и культура» России начинаются в данном случае очерком о любви в петровской Руси и заканчивается анализом *Советского спорта* 1950-х гг. Однако временная последовательность призвана продемонстрировать здесь последовательность иного рода.

В своем предисловии Барбара Клементс, автор нескольких монографий, посвященных советским женщинам, приводит список моделей мужественности, последовательно господствовавших в Европе в течение последних тысячелетий: военно-гражданская модель античной Греции; патриархальная иудео-христианская модель; феодальная модель, основанная на кодексе чести и покровительстве и, наконец, протестантская модель буржуазной рациональности. Задавая определенный вектор прочтения сборника, Клементс отмечает, что:

...тексты, вошедшие в состав сборника, являются... попыткой встроить (*to fit*) Россию в рамки этих широких тенденций, установить, насколько российская культура на протяжении столетий совпадала с остальной Европой или отличалась своими собственными пониманием и практиками того, что считалось мужским характером и мужским поведением (с. 10)⁴.

Автор предисловия не объясняет, почему поиск сходств и различий с «остальной Европой» должен стать организующим принципом исследования *российских* мужчин. Географический выбор, возводящий «европейские» принципы классификации (мужского поведения) до уровня интеллектуального «золотого стандарта», в соответствии с которым определяются сходства и отклонения всех остальных, – это лишь часть проблемы. Удивителен, разумеется, не сам европоцентризм, сколько та неувядающая настойчивость, с которой он выдается за естественную форму концептуализации исторического материала, несмотря на ак-

³ Barbara Evans Clements, Rebecca Friedman and Dan Healey (eds.). *Russian masculinities in history and culture*. New York, 2002. 242 p. (Барбара Эванс Клементс, Ребекка Фридман и Дэн Хили (ред.). *Российские мужчины в истории и культуре*. Нью-Йорк, 2002.)

⁴ Clements B. *Introduction*. P. 11–15. Здесь и далее страница источника цитаты указывается в скобках по тексту.

тивную критику подобного подхода в англоязычном обществоведении последних лет⁵. Основная проблема такого «вмещающего» подхода, на мой взгляд, заключается, прежде всего, в том, что он позволяет эффективно избавиться от необходимости вникать в артикулированные или – что чаще – лишь подразумеваемые принципы классификаций и типологий, которые сформировались *на местах*. Доступность «европейского» теоретического лекала, его «всеобщий» статус позволяют уйти от рефлексий о том, почему российская история (и культура) должна непременно выступать как *сравнительная* история.

О менее явных аспектах такого подхода к организации исторического материала в сборнике речь пойдет ниже, пока же лишь замечу, что, несмотря на коллективную задачу концептуально-хронологического сравнения, тексты сборника объединяет все-таки другое. Целью статей стал не столько сравнительно-сопоставительный анализ, сколько методологические попытки «встроить» возможные пути и способы идентификации *мужского* поведения и *мужских* практик в рамки сложившихся традиций исторических исследований российского прошлого. На разном образном материале авторы сборника попытались придать таким *оценочным* категориям, как «мужское» и «мужественное», беспристрастность исследовательского инструментария. Спектр этих попыток варьируется от традиционного стремления выявить скрытые «мужские» ценности и практики там, где обычно видят только «возрастные» или, допустим, «профессиональные», до попыток показать, как те или иные «всеобщие» формы поведения обретали исторический статус подчеркнуто «мужских» или вызывающе «немужских».

Во многом подобные границы спектра исследовательских ориентаций определяются принципиальным различием в интерпретации «сути» пола и процесса, связанного с осознанием «половой принадлежности». Пониманию пола как *ролевой характеристики* здесь противостоит понимание пола как *идентичности*. Восприятие «мужского поведения» и «мужского характера» как совокупности мужских *ролей*, содержание которых может и должно быть усвоено (выучено) и продемонстрировано окружающим, естественно отражается в стремлении составить перечень мужских «сценариев», мужских «ценностей», классификацию мужских «типов» и моделей поведения.

В свою очередь, акцент на том, что степень «мужского» в характере или поведении человека определяется не столько тем, что именно делается, сколько тем, *как* тот или иной поступок, качество или явление соотносятся с другими поступками и вписываются в существующую систему оценочных категорий, – т.е. то, как этот поступок *идентифицируется*, – заставляет исследователей обращать более пристальное

⁵ См. подробнее, напр.: Todorova M. *Imagining the Balkans*. New York, 1997; Chakrabarty D. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical difference*. Princeton, 2000.

внимание на тот исторический контекст, который ограничивает шкалу возможных *оценок*.

Другими словами, если успешное усвоение «мужской роли» определяется способностью индивида подвергнуть себя процессу социализации, стирающей несоответствие между «ожидаемым» и «демонстрируемым» поведением, то «мужская *идентичность*» должна всякий раз быть (вос)создана «заново». Непредсказуемость развития или быстрая смена контекста лишает привычные «нормы» какой бы то ни было ориентировочной функции и вынуждает определяться с критериями и оценками «настоящего мужского поведения» в каждой конкретной ситуации⁶. Посмотрим, как эти подходы отразились в статьях сборника.

Среди наиболее расхожих представлений, связанных с понятием «русский мужчина», пожалуй, наиболее устойчивыми являются ассоциации с «выпивкой», «дракой» и «подвигами». Поэтому вряд ли удивительно то, что именно анализу этих практик и посвящено значительное количество статей зарубежных исследователей. Два текста в сборнике исследуют процесс *обучения* подобным ритуалам мужского поведения. Кристина Воробек в очерке, озаглавленном *Мужчины в крестьянском обществе в России времен поздней империи*, например, рисует картину типичной социализации молодого крестьянского поколения, отмечая, что воспитание сыновей являлось одним из элементов, из которых складывался авторитет патриарха-*большака* в крестьянской семье. Как пишет историк:

Мат, выпивка, курение, общение с женщинами, участие в кулачных боях с другими парнями, организация хулиганских выходок и проделок над соседями, а также попытки выяснить пределы гостеприимства соседей во время новогодних праздников – все это являлось частью воспитания сыновей (с. 80)⁷.

Временами подобные уроки усваивались сыновьями слишком хорошо, и *большак* был вынужден использовать иные меры воспитания для того, чтобы ограничить степень сыновнего неповиновения. Чаще всего использовались публичные порки ивовыми прутьями (хотя лишение наследства и отказ сыну в разрешении на получение паспорта для работы за пределами деревни тоже имели место; с. 85). Публичные порки сыновей, как отмечает Воробек, имели предел – не больше двадцати ударов на каждого провинившегося. Учитывая серьезность проступка, суды иногда шли на увеличение количества ударов (до сорока). По мере взросления сыновей социализирующая роль *большака* с неизбежностью снижалась, вытесняясь влиянием таких «общественных мест», как

⁶ Подробнее о подходах к анализу «мужественности» см. мою статью: «Человек рода он»: знаки отсутствия // Ушакин С., сост. *О муже(Н)ственности*. М.: Новое литературное обозрение, 2002.

⁷ Worobec С. *Masculinity in late-imperial Russian peasant society*. P. 76–93.

шинки, кабаки и тому подобные распивочные. Однако, как подчеркивает историк, вряд ли стоит видеть единственную цель социальной выпивки в достижении эффекта алкогольного опьянения. Главным в ней всё-таки являлись проявление чувства товарищества и поддержка дружеских отношений (с. 88).

Сходную роль товарищеской выпивки как института социализации исследует в своей работе *От мальчиков к мужчинам: мужская зрелость в университете николаевской поры* Ребекка Фридман⁸. Ритуалы студенческих выпивок, нередко сопровождавшихся драками или беспорядками, рассматриваются исследовательницей как своеобразная реакция студентов на тот идеал *покорности*, с которым университетская администрация связывала чиновничье будущее своих выпускников. Любопытно, что обучение ритуалам «ненормативного» поведения точно так же, как и в крестьянской семье, описанной Воробек, осуществлялось не без помощи своеобразного *большака*. Фридман описывает случай с Платоном Сергеевичем Нахимовым, главным инспектором Московского университета в 1830–1840-х гг., одновременно пытавшимся обучить студентов и официальным правилам поведения, и допустимым способам их нарушения. Однажды, инспектируя кабак *Британия*, расположенный неподалеку от университета, Нахимов застал там группу своих студентов. В ответ на вопрос Нахимова, что именно пьют студенты, последовал хоровой ответ: «Чай!» Не удовлетворившись ответом, инспектор попробовал жидкость из каждого стакана и затем покинул кабак, даже не пытаясь разоблачить очевидную ложь. История административного попустительства, однако, на этом не закончилась: на следующее утро Нахимов вызвал к себе одного из участников «чаепития» и устроил ему допрос. Сломленный напором инспектора, студент признался, что пил алкогольный пунш. В ответ последовала неожиданная тирада: «Я знаю, что это был пунш. Вы все там пили пунш. Но ты, что *ты* пил?.. Ты, наверное, добавил в стакан чая две ложки рома, а потом разбавил какими-то помоями? И это ты называешь пуншем? Шагом марш в карцер... Все пили пунш, а ты – помои!» (с. 44). В интерпретации Фридман эта двойственность позиции чиновника, призванного олицетворять власть университетской администрации, становится отражением определенного противоречия, отличающего понимание мужской зрелости в николаевскую эпоху. Взаимоисключающие ожидания со стороны товарищей и со стороны администрации обостряли потребность студентов в моральном компасе, который – подобно Нахимову – смог бы указать вектор приемлемых действий в каждой конкретной ситуации.

Анализ социализации городской и сельской молодежи, изложенный в этих двух статьях, на мой взгляд, является хорошим примером использования классической интерпретационной схемы, известной по много-

⁸ Friedman R. *From boys to men: Manhood in the Nicholaevan university*. P. 33–50.

численным социологическим исследованиям – от Талкота Парсонса до Ирвинга Гофмана. Как и другие сторонники теории социализации, авторы этих статей столкнулись с типичной трудностью. Внимание к нормативному, предписываемому характеру социальных ролей обычно оставляет за скобками вопросы и об их происхождении, и о тех трансформациях, которым подвергались эти роли в процессе усвоения. Акцент на том, как *играются* роли, оставил в тени вопрос о том, где и как именно эти роли «пишутся» – т.е. из какого набора элементов сложилась та или иная историческая норма мужественности, какие элементы (и почему) не вошли в ее состав и на основе какой *внутренней* иерархии господство этой нормы стало возможным.

Важно и другое. Демонстрируя «мужской» характер крестьянских драк или студенческих пирушек, историки, тем не менее, не смогли показать, где в данном случае проходит водораздел между «классовым» или «возрастным», с одной стороны, и собственно «мужским» – с другой. Другими словами, они не смогли (или не захотели) продемонстрировать исторический момент оформления дифференциации корпоративных и половых характеристик, той самой дифференциации, которая, собственно, и позволяет индивиду осознать, что «неудавшийся» *студент* (или *крестьянин*) и «неудавшийся» *мужчина* – это не одно и то же.

Разнообразные стороны социализации затронуты и еще в одной группе статей. Однако речь здесь идет не столько о непосредственном *обучении* навыкам «мужского» поведения и даже не о реальных практиках конкретных людей, сколько о *репрезентациях* подготовки к мирным и военным «подвигам». Анализируя художественную, педагогическую и пропагандистскую литературу, авторы демонстрируют, как готовность к возможным испытаниям, связанная с культивированием самоконтроля, самодисциплины, самоограничения и самоотверженности, становится господствующей «мужской» чертой.

Катриона Келли, культуролог из Великобритании, в статье под названием *Тренировка воли: литература по самовоспитанию, закал и мужественность в России начала двадцатого века*⁹ исследует, как в течение XX в. «концепция храброго, решительного и твердого мужчины – лишь одна из возможных альтернатив в дореволюционный период – превратилась в 1920–1930-х гг. в господствующий идеал мужского поведения, чтобы после Второй мировой войны вновь оказаться в маргинальном положении» (с. 133).

Основная часть статьи посвящена тому, что Келли называет «предысторией *закала*», которая, по мнению исследовательницы, проявилась в многочисленных переводных пособиях по самовоспитанию, заполнивших рынок массовой книжной продукции в России в конце XIX – начале XX в. Приводя любопытные детали, связанные с переводами этих

⁹ Kelly C. *The education of the will: advice literature, zakal, and manliness in early twentieth-century Russia*. P. 131–151.

произведений на русский язык, автор, к сожалению, обходит молчанием вопрос о наличии (или отсутствии) читательской реакции, которая сопровождала появление идей подобного рода в России. Остался без ответа и вопрос о каком бы то ни было практическом эффекте, который эти произведения смогли оказать на поведение российских мужчин. Помимо пособий по самовоспитанию, история *закала* также рассматривается на таком материале, как описание *дуэлей* среди русского дворянства и офицерства (М. Лермонтов, А. Куприн, А. Чехов), полемика в русской литературе по поводу традиционного безволия и вялости *лишнего человека* (Д. Овсяннико-Куликовский, русские символисты), а также разнообразные практики *выживания*, отмеченные в советской (В. Маяковский, А. Караваева) и эмигрантской (Н. Берберова, В. Набоков) литературе.

В центре внимания Джулии Гилмор и Барбары Клементс оказываются не столько художественные, сколько пропагандистские образы, а именно – материалы о спортсменах, опубликованные на страницах *Советского спорта* в 1940–1950-х гг. Авторы статьи «*Если хочешь быть таким, как я – тренируйся: Противоречия советской мужественности*¹⁰, в частности, отмечают, что «атлеты, участвовавшие в одиночных видах спорта олимпийской программы, стали любимой темой советских спортивных журналистов, пытавшихся сделать из них модель *культурности*» (с. 213). Итогом такой риторической стратегии стал образ «героя спорта» – успешного, трудолюбивого и – что не менее важно – *образованного* спортсмена, не имеющего (как правило) вредных привычек. Интересно, что такое использование спорта в воспитательных целях в послевоенный период резко отличалось от позиции партийных лидеров первого поколения, считавших индивидуальную спортивную конкуренцию «разлагающей и буржуазной» и потому предпочитавших групповую гимнастику и длительные прогулки (с. 220).

Еще один аспект героической модели мужественности рассмотрен в статье Карен Петроне. Используя публицистические и художественные произведения, описывающие три военных конфликта между Россией и Японией (Русско-японская война 1904–1905 гг., Гражданская война 1918–1920 гг. и конфликт на озере Хасан в 1938 г.), автор прослеживает влияние этнических и классовых иерархий на оформление военно-героической мужественности в России и Советском Союзе¹¹. Вот как, например, комментируется в статье отражение конфликта на озере Хасан в советской печати:

В описаниях героев Хасана часто обращалось особое внимание на их скромное происхождение и социальный статус до прихода в Красную

¹⁰ Gilmore J., Clements B. «*If you want to be like me, train!*»: the contradictions of Soviet masculinity. P. 10–221.

¹¹ Petrone K. *Masculinity and heroism in imperial and soviet military-patriotic cultures*. P. 172–193.

Армию. Тем самым подчеркивалась существенная связь между народом и армией. Вражеская армия, в свою очередь, представлялась как империалистическая, капиталистическая и фашистская, не имеющая никаких органических связей с угнетенным японскими рабочими и крестьянами. Конфликт на озере Хасан поэтому стал классовой борьбой советского пролетариата с японской знатью. Называя постоянно японских солдат «самураями», пропагандисты тем самым рассматривали всех членов армии как представителей феодальной знати, в то же время отказывая им в чести и храбрости, которые являлись неременной составляющей этого термина. Как и во время гражданской войны, советские идеологи избегали признания того неудобного факта, что ряды японской армии были заполнены угнетенными рабочими и крестьянами, о горькой судьбе которых они так пеклись (с. 182).

По соответствующей схеме кроился и образ русского/советского героя; в качестве соответствующего фона при этом нередко выступали фигуры солдат других национальностей. Автор приводит ряд примеров, в которых параллелизм воинской и этнической иерархий продемонстрирован особенно отчетливо. Комментируя замечание рассказчика в книге Д. Фурманова *Чапаев* о том, что полк мусульман, скомплектованный из представителей четырнадцати различных национальностей, «совершал подвиги неслыханной храбрости и героизма», Петроне отмечает, что:

...эти войска, словно дети, нуждались в руководстве Коммунистической партии больше, чем другие формирования, поскольку [как пишет Фурманов] «они выросли медленнее и не могли сразу понять все причины и весь масштаб идущей социальной борьбы». У этих солдат была мужская храбрость, но не было мужского интеллекта. Благодаря правильному образованию, полученному преимущественно из рук русских коммунистов, эти нерусские солдаты смогли приобрести советскую сознательность и стать полноценными мужчинами (с. 181).

Привлекая внимание к важной проблеме роли массовой литературы в процессе формирования образов мужчин, три анализа репрезентаций «тренированной мужественности», рассмотренные выше, на мой взгляд, обошли стороной вопрос о «пропорциональном соотношении» мужских образов на страницах печати и жизнью реально существующих мужчин. Насколько правомерно ожидать от пропагандистской литературы вдумчивого и детального «отражения» реальности? Стоит ли воспринимать заведомо искаженные образы мужчин – в положительную сторону (в *Советском спорте* или пособиях по самовоспитанию) или в отрицательную (в «антияпонской пропаганде») – в качестве *репрезентации* соответствующих «мужских» практик? В какой степени логика развития того или иного литературного жанра (дидактика, публицистика, пропаганда и т.п.) совпадает с логикой *поведения* людей? Речь не о том, что подобных совпадений не было или не могло быть, речь о том, что анализ

таких совпадений предполагает исследование не только *содержания* опубликованных текстов, но и практик их *прочтения*, т.е. предполагает наличие определенного зазора, нестыковки между исходным намерением «пропагандиста», вкладывающего идеологическое «послание» в тот или иной образ, и тем, как это «послание» (и этот образ) воспринимается его читателями где-нибудь на «передовой» или в «тылу»¹².

Анализ традиционных мужских ролей в сборнике естественно дополняют статьи, посвященные историческим особенностям «мужа» и «главы семейства». Используя материалы, касающиеся семейных отношений преимущественно российской правящей семьи, Нэнси Коллман в статье «*А при чем тут любовь?*»: *Смена моделей мужественности в московской и петровской России* прослеживает резкую трансформацию отношений между супругами допетровской и петровской Руси. Как свидетельствует переписка Василия III (у власти с 1500 по 1533), Михаила Федоровича (1613–1645) и Алексея Михайловича (1645–1676) с членами их семей, брак в восприятии того времени понимался, скорее, в терминах уважения и сотрудничества; целью семейного союза являлось стабильное воспроизводство важных символических (репутация) и материальных ресурсов (с. 22–23). Подобное восприятие семьи и брака, однако, начинает меняться на рубеже XVII и XVIII вв. В переписке с возлюбленными и женами мужчины все реже ограничиваются сообщениями о здоровье и все чаще затрагивают тему чувств. Ярким примером подобных изменений в супружеских отношениях, по мнению историка, служит брак Петра I с Марфой Скавронской (Екатерина I). Нарочито пышное венчание, многочисленные портреты и гравюры, изображающие Петра с женой и детьми, частые совместные появления в свете не только сформировали новую практику «публичной семейственности», но и заложили иное понимания брака, в котором на смену идее стабильности и воспроизводства семейных отношений пришло чувство эмоциональной близости супругов.

Впрочем, как свидетельствует статья Барбары Энгел, такая модель брака была далека от универсальной – несмотря на закон, требующий от мужа «возлюбить жену как тело свое, жить в согласии с ней, уважать, защищать и прощать ей слабости ее» (с. 114). Анализ прошений о разводах, поступивших в императорскую канцелярию в 1881–1914 гг. от женщин преимущественно крестьянского происхождения, и стал предметом статьи *Брак и мужественность в России конца империи: «тяжелые случаи»*. «Тяжелыми случаями» (*hard cases*) автор называет ситуации, в которых прошение жен о разводах сопровождалось отказом со стороны мужей. Собственно, мотивация и риторика этих отказов и позволяют проследить, по мнению Энгел, как конструировалась мужественность в данный период. Краеугольным камнем, на котором строилась

¹² См. подробнее об этом, напр.: Саркисова О. Степень несвободы: в поисках утраченной субъективности // *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 593–606.

риторическая защита мужей против обвинений в насилии над женами, становился тезис о неограниченной власти в пределах домохозяйства. Другой, не менее типичной формой защиты была попытка представить удручающие детали семейной жизни, озвученные женой, как злобную клевету, призванную очернить доброе имя хозяина. Один из мужей, например, так реагировал на прошение своей жены:

«Она не пожалела во мне ни человека, ни мужа, ни отца её детей». Еще один разгневанный муж в ответ на просьбу о разводе, вызванную, как отмечает жена, в том числе и его «неестественными половыми запросами», писал: «Ты называешь себя моей женой, но ведь ты запятнала мое имя и мою репутацию, чего никому до тебя не удавалось...» (с. 118).

Любопытно, что в защиту своей *супружеской* роли мужа нередко приводили аргументы, подчеркивающие их *общественные* заслуги. Как писал один городской, обвиненный женой в пьянстве и деспотизме:

«Я работал на благо общества, я был старейшиной церкви на Лазаревском кладбище. . .» и т.п. По мнению историка, такой акцент на *публичной* роли призван обозначить место, на которое мужа претендовали в *общественной* иерархии. Именно на них, на отцах и главах семейства, и покоилась та структура власти, вершину которой занимал государь. Соответственно, любые попытки нанести удар по этому «основанию» могли лишить стабильности государственный строй в целом (с. 121).

Еще одна пара концептуально близких статей рассматривает формирование мужских ценностей и мужских моделей поведения в связи с изменениями трудовых отношений в российском обществе. В статье британского историка С.А. Смита *Переходная мужественность: крестьяне-мигранты в С.-Петербурге времен поздней империи*¹³ отмечается, что усиление крестьянской миграции в Петербург в конце XIX в. привело к тому, что более 63% населения города в 1900 г. были крестьянами, не менее 79% из них – «пришлые» (с. 95). Учитывая, что значительную часть пришедших крестьян составляли люди моложе 35 лет, можно говорить о формировании среды, которая не могла не повлиять на изменение традиционных мужских ценностей и форм поведения.

В ряде случаев формирующиеся «городские рабочие» пытались отстоять и воспроизвести в новой среде уже известные «традиционные» модели поведения – с выпивкой, гулянками, драками и сексуальными похождениями. Смит приводит любопытную цитату из опубликованной в 1907 г. заметки в газете профсоюза печатников. Автор заметки сетует по поводу сложившейся у рабочих привычки: «После праздников каждый товарищ считает своим “моральным” долгом поделиться своими “праздничными приключениями” с другими, называя все своими именами и не стесняясь при этом присутствующих женщин и подмастерьев»

¹³ Smith S.A. *Masculinity in transition: peasant migrants to late-imperial St Petersburg*. P. 94–112.

(с. 98). Такая «приверженность» старым ценностям во многом отражала низкий статус «новых рабочих». Носителями иной модели рабочей мужественности выступили *мастеровые*, противопоставившие крестьянской «отсталости» и несдержанности строгую самодисциплину. Именно эта среда *сознательных* рабочих, как демонстрирует Смит, и стала основой для формирования новой иерархии и нового понимания того, что значит быть мужчиной. На смену ценностям силы и выносливости пришла иерархия, основанная на приоритете профессиональных навыков, способности к саморазвитию и самоконтролю (с. 108).

Томас Шранд в обзорной статье *Социализм одного пола: мужские ценности сталинской революции*¹⁴ исследует, как процесс ускоренной индустриализации, которую прошел СССР с 1929 по 1941 г., повлиял на трансформацию нормативных политико-половых установок и ожиданий. Угол аналитического зрения, выбранный Шрандом для изучения динамики изменений мужских ролей, довольно неожидан. В центре внимания не группа мужчин, не набор мужских образов и даже не описания мужчин, сделанные женщинами. Опираясь на уже опубликованные исследования по занятости женщин на производстве, дополненные результатами собственной работы в архивах, историк пытается понять, в какой степени рост числа *работающих женщин* изменил положение *мужчин*.

Как отмечается в статье, предвоенная советская история характеризовалась двумя подходами к мобилизации женщин на производстве. Оба подхода считали подобное участие необходимым и желательным, однако программы мер по осуществлению такой политики значительно отличались. Если Женотделы партии ставили участие женщин в индустриализации в зависимость от их освобождения от домашних обязанностей, то сталинская трудовая политика вопрос о домашних обязанностях не затрагивала в принципе. В 1930-х, с роспуском Женотделов, второй подход стал официальной политикой, а последующая массовая предвоенная мобилизация мужчин сделала участие женщин в промышленности неизбежностью. По мнению исследователя, такое массовое участие женщин в производстве сопровождалось «повышением статуса мужчин в советском обществе» (с. 194). Изменение статуса «мужского» отразилось и на символическом уровне: усиленная милитаризация общества в конце 1930-х гг. сделала фигуру военного неотъемлемой частью жизни. И хотя для самих мужчин, как замечает Шранд, роль солдата была чревата как «преимуществами, так и потерями, в целом она способствовала дальнейшему укреплению (promotion) “мужского” в советском обществе» (с. 204).

Любопытным контрастом текстам сборника, исследующим «традиционные» варианты российской мужественности, служат две статьи, в

¹⁴ Schrand T. *Socialism in one gender: masculine values in Stalin revolution*. P. 194–209.

центре которых оказались не совсем обычные фигуры *русского денди и русской тетки*. Именно эксцентричное, маргинальное положение этих фигур и позволило авторам статей продемонстрировать, как одежда или сексуальность становятся способом социальной классификации. Ольга Вайнштейн, российский культуролог, в работе *Дендизм в России: создавая человека моды*¹⁵ прослеживает становление щегольской культуры в России – от Петра I, с его указом 1700 года, требующим брить бороды и носить по будням немецкое и венгерское платье (а по выходным – французское; с. 52), до эстетствующих мироискусников начала XX в. Как замечает исследовательница, заимствование западной моды, как правило, имело два любопытных идеологических последствия. Само повышенное внимание щеголей к одежде нередко трактовалось как проявление женских (или детских) черт. Одновременно с этим любовь к западной моде отождествлялась и с любовью к западным идеям. Поклонники всего французского, например, часто воспринимались как защитники «свободомыслящего космополитизма». В итоге «во времена, когда отношения с Западом охладевали... модным мужчинам приходилось терпеть разнообразные оскорбления» (с. 54).

Интересно, что результатом такой версии «низкопоклонства перед Западом» явилась все-таки вполне отечественная фигура модника. Наиболее ощутимо отличие старорусских «стиляг» выражалось в стремлении продемонстрировать свое финансовое состояние посредством одежды – дорогими булавками, зажимами и кольцами, или пуговицами, инкрустированными бриллиантами. Пиком подобного отношения к одежде и аксессуарам стала мода носить не одни, а двое часов – желательной французской фирмы *Breguet* (с. 56). Еще одним типично российским явлением была, по мнению автора, военная мода, немыслимая среди западных модников с их отвращением к обезличивающей униформе. Генералу Кульневу, командиру Павлоградского гусарского полка, например, стоило немало трудов, чтобы при помощи административных мер избавиться от моды на серьги, которая быстро распространилась среди его солдат и офицеров. В качестве еще одного примера безудержного поклонения моде в армии Вайнштейн приводит одежду, которая в буквальном смысле слова сковывала движения военных, вызывая телесные повреждения. Чтобы кавалеристские белые лосины (сшитые из лосиной кожи) лучше стягивали фигуру, их должны были надевать еще влажными. Николай I, с особым интересом относившийся к новинкам военной моды, нередко был вынужден скрывать по нескольку дней от посетителей, залечивая болячки, вызванные ношением подобной униформы (с. 60–61). Именно способность светских и военных щеголей оказывать влияние на формирование *массовой* моды, по мнению Вайнштейн, и определила их социально-историческую значимость. Не характеры и не стиль отдельных представителей *элиты* – сколь блестящими

¹⁵ Vainstein O. *Russian dandyism: constructing a man of fashion*. P. 51–75.

они ни были бы – изменили в начале XX в. роль одежды в жизни мужчин, но широко распространенный образ денди *среднего класса*.

Сходную диалектику центра и периферии исследует в своем тексте и Дэн Хили, историк из Великобритании. Используя архивные документы, историк прослеживает в своем очерке появление, а затем и резкое исчезновение с центральных улиц российских столиц фигуры женоподобного гомосексуалиста, получившего в конце XIX в. в публицистической и медицинской литературе прозвище «тетка»¹⁶. Как отмечает автор статьи, последняя четверть XIX в. была отмечена быстрым развитием рынка гомосексуальных услуг и самой гомосексуальной культуры в столице России. Особой известностью, например, пользовался питерский *Пассаж*. Современники отмечали тогда: «Зимой, по воскресеньям, *тетки* прогуливались на верхней галерее *Пассажа*, куда по утрам приходили кадеты и школьники и где ближе к шести вечера появлялись солдаты и подмастерья» (с. 157). Впрочем, и сам Невский проспект – от Знаменской площади до Публичной библиотеки – также являлся местом для встреч посвященных. По средам *тетки* из высшего общества собирались на балете в Мариинском театре, а субботы обычно отводились на поиск «подмастерьев» или небогатой молодежи в цирке Чинизелли, сады вокруг которого (как и сама набережная Фонтанки неподалеку) оставались важным местом мужской проституции вплоть до 1920-х гг. (с. 151). Несмотря на бурное развитие, формирующаяся гомосексуальная культура не встречала особого сопротивления. Напротив, как замечает исследователь, она способствовала появлению специфической индустрии – в виде бань, ресторанов и «балов для женоненавистников» (с. 60). Не сильно изменилась эта культура и под влиянием революции и гражданской войны: уже в годы нэпа она достигла предвоенного размаха, и отмена новым российским правительством уголовного наказания за «содомию» лишь способствовала этому (с. 161). Способствовала, впрочем, недолго. Восстановление в 1933–1934 гг. уголовного преследования за секс между мужчинами и серия последовавших судебных дел, естественно, привели к маргинализации яркой фигуры русской *тетки*.

Подводя итоги в *Заключении*¹⁷, Р. Фридман и Д. Хили, на мой взгляд, абсолютно справедливо отмечают, что было бы неправомерно сводить российскую историю к «роли сноски, подтверждающей выводы исследований по истории пола в Европе» (с. 225). И всё же. Проблема интеллектуальной и географической иерархии, проблема интеллектуального статуса исследователей и исследуемых обнажена в сборнике во всей полноте. Из 11 опубликованных статей 5 посвящены анализу аспектов жизни мужчин и женщин двух российских столиц. Еще в 5 статьях речь

¹⁶ Healey D. *The disappearance of the Russian queen, or how the soviet closet was born*. P. 152–171.

¹⁷ Friedman R., Healey D. *Conclusions*. P. 223–235.

идет о литературе или явлениях, которые призваны репрезентировать Россию «в целом». Наконец, одна статья посвящена состоянию «крестьянского общества». Причины пристального внимания к российским метрополиям – как и причины недифференцированности «остальной» России – понятны. Даже в тех случаях, когда речь идет о провинции, историки данного сборника опираются на материалы столичных архивов (статья Фридман, если я не ошибаюсь, является единственным текстом, в котором используется в том числе и материал из провинциального архива). Организационные причины такой интеллектуальной центростремительности, повторяюсь, ясны. Непонятным остается влияние такого отбора материала на очертания общей картины, которая формируется в ходе исследования. В каком соотношении находятся тенденции, обнаруженные авторами в столицах, с процессами, происходящими в «провинции»? В какой степени использование литературы, изданной в столичных издательствах в качестве основного – и зачастую единственного – источника, учитывает возможность доступа к печатному станку для авторов из провинции? Наконец, насколько правомерно оперировать среднеарифметическими понятиями «Россия» и «русские», игнорируя при этом различие между *российской* историей и историей собственно *русских* даже тогда, когда в центре дискуссии оказываются этнические вопросы?¹⁸

Но вернемся к сноскам. Название *Российские мужчины в истории и культуре* вполне позволяет видеть в *истории* не только временной промежуток, но и определенную дисциплину. В том числе и *отечественную*. Казалось бы, исследования российских историков, освобожденные наконец-то от идеологического давления, могли бы стать для зарубежных коллег естественным партнером по диалогу. Партнером, который, может быть, не всегда знаком с последними тенденциями мировой исторической моды, но которому всегда есть что сказать по поводу истории собственной страны. Как свидетельствует сборник, в реальности ситуация выглядит прямо противоположным образом. Особого интереса к сказанному по-русски, судя по всему, нет. Дело не в отсутствии русскоязычных источников – за редким исключением в статьях сборника активно цитируется литература, опубликованная по-русски. Важен статус цитируемых документов. Большим успехом, например, пользуются разнообразные сборники документов, мемуары и прочая литература, способная выступать в качестве *источника информации*. При этом практически полностью отсутствуют интерпретационные и аналитические выводы отечественных обществоведов. Итоги деятельности российской обществоведческой и гуманитарной «машины» с ее академическими институтами, журналами, книгами и сотнями специали-

¹⁸ О методах «руссковедения» см.: Ярская-Смирнова Е. Взгляды снаружи, взгляды изнутри. «Мать-Россия» в постсоветской антропологии // Ярская-Смирнова Е. *Одежда для Адама и Евы*. М., 2001. С. 187–216.

стов по всей стране – за исключением десятка работ, опубликованных по-английски, – с трудом различимы из-за рубежа. С доводами и выводами местных специалистов не спорят и их не комментируют. Их просто не замечают. В какой-то степени такую ситуацию можно было бы списать на определенный «консерватизм» отечественных академических дисциплин, если бы не два важных момента. Во-первых, ссылки на «местный» традиционализм вряд ли могут объяснить, почему «за скобками» осталась и действительно новаторская деятельность российских исследователей. Например, деятельность казанского журнала *Ab Imperio*, в течение ряда лет успешно дестабилизирующего традиционные схемы российской истории. Или деятельность отечественных специалистов в области «гендерных отношений», которые – при всей теоретической и методологической неровности их работ – сумели привлечь внимание академической общественности к проблематике пола.

Сведение российского гуманитарного знания до положения *источниковедческой базы* – и это во-вторых – становится более понятным, если обратить внимание на то, что в роли экспертов и интерпретаторов в сборнике выступают, как правило, историки, пишущие *по-английски*. Подобная ситуация, естественно, не нова. О феномене «неравенства языков», т.е. об иерархическом отношении, складывающемся между языком «аборигенов» и языком «исследователей», в последние годы писали немало¹⁹. И важным в этой полемике, мне кажется, является не только та расстановка сил на глобальном академическом поле, которую политика такого – осознанного или неосознанного – цитирования обнажает. Существенную роль играет и то неравенство *знаний*, которое это «неравенство языков» устанавливает, поскольку знание, которое местные языки фиксируют с большей заинтересованностью, как справедливо заметил в середине 1980-х гг. американский антрополог Талал Асад, «не представляет такого же интереса для западных обществ, как не представляют такого же интереса и причины», вызвавшие это знание к жизни²⁰.

В 1986 г., призывая историков обратить внимание на пол как категорию исторического знания, Джоан Скотт, американский историк Франции, отмечала её особую *аналитическую* полезность. Изменения конфигурации властных отношений в обществе, как правило, проявляют себя в существенной ревизии основополагающих принципов «половой принадлежности», в ревизии качеств и характеристик, считавшихся до сих пор «традиционно» мужскими или женскими. Как поясняла тогда Джоан Скотт:

¹⁹ См., напр.: Спивак Г. Могут ли угнетенные говорить? // Жеребкин С., ред. *Введение в гендерные исследования. Хрестоматия. Часть II*. Харьков, 2001.

²⁰ Asad T. The concept of cultural translation in British anthropology // Clifford J., Marcus G. (eds.). *Writing Cultures: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley, 1986. P. 158.

...мы можем писать историю [политического] процесса только тогда, когда признаем, что категории «мужчина» и «женщина» лишены какого бы то ни было содержания и в то же самое время – переполнены им. Эти категории содержательно пусты потому, что у них нет какого бы то ни было конечного, трансцендентального смысла. Переполнены же они потому, что даже тогда, когда их смысл кажется зафиксированным, в них всё равно есть место альтернативным, отрицаемым или подавленным определениям²¹.

В статьях, о которых шла речь выше, категория пола, на мой взгляд, сыграла не столько аналитическую, сколько *синтетическую* роль, позволяя объединить под рубрикой «*мужское*» разнообразные качества, явления и процессы. Отсутствие четкой (аналитической) границы между тем, *что* считается «мужским», и теми, *кто* так считает, нередко выражалось в подмене анализа «мужского» анализом «классового» или, например, «этнического». Подобные подмены и смещения, безусловно, сопровождались интересными открытиями и интерпретациями, но само их наличие лишней раз подтверждает правоту тезиса Скотт: категория «*мужчина*» всегда или уже пуста, или уже переполнена. Существенно и то, что сборник стал хорошей иллюстрацией еще одного тезиса, сформулированного американским историком: категория пола не отделима от анализа власти. И, добавлю, от использования власти в аналитических целях.

Безусловной заслугой сборника *Российские мужчины в истории и культуре* явилось стремление продемонстрировать историческое многообразие «мужского», показать историческую преемственность и исторические разрывы в формировании моделей и практик «мужского» поведения. Во многом это стремление обусловлено идеей о том, что за фасадом властных структур, культурных традиций и тенденций стоят живые люди. Со своими интересами, предпочтениями и предубеждениями. Как убедительно показали авторы сборника, нередко именно пол становится тем самым звеном, которое и позволяет свести эти интересы, предпочтения и предубеждения в единую цепь поступков.

2003 г.

²¹ Scott J. *Gender and the Politics of History*. New York, 1988. P. 49.